

# Содержание

*От редактора*

7

## Защита Лужина

11

*От автора*

13

## *От редактора*

Свой третий, получивший всеобщее признание роман Владимир Набоков начал писать на юге Франции, в Восточных Пиренеях, зимой 1929 г., и закончил в Берлине в августе того же года. Внутренний источник замысла книги о гениальном русском шахматисте обнаруживается в большой сказочной поэме Набокова 1923 г. «Солнечный сон», впервые опубликованной лишь в 2019 г., — победившему в шахматном состязании Ивейну открывается иная форма реальности, постепенно завладевающая его сознанием. Год спустя Набоков сочинил рассказ «Бахман», герой которого, полубезумный немецкий композитор и пианист, послужил новым эскизом к образу Лужина.

26 июля 1929 г. Вера Набокова писала Елене Ивановне Набоковой о новой книге ее сына, еще не сообщая ее названия: «<...> Володя много и изумительно работает. Уже около половины написал. Эта вещь не похожа ни на одну из предыдущих, все новое: стиль, тема, обработка. Таких вообще еще рус-

ская литература не видала». Всего три недели спустя, 15 августа, Набоков писал матери: «Кончаю, кончаю... Через три-четыре дня поставлю точку. Долго потом не буду братья за такие чудовищно трудные темы, а напишу что-нибудь тихое, плавное. Все же я доволен моим Лужиным, — но какая сложная, сложная машина. <...> Устала немного голова. Пора, пора Лужина убить и труп сдать Ульштейну, авось купит он его для дисекции, для перевода».

Роман был напечатан в парижском журнале «Современные записки» в 1929–1930 гг., отрывки печатались в эмигрантских газетах «Руль» и «Последние новости». Отдельным изданием «Защита Лужина» вышла в берлинском издательстве «Слово» (1930). Выход немецкого перевода в издательстве «Ульштейн», о котором Набоков писал матери, не состоялся из-за начавшегося в Германии экономического кризиса.

В 1934 г. в парижском издательстве «A. Fayard & Cie» вышел французский перевод «Защиты Лужина» под изобретательным названием «La course du fou» («course» может означать и гонку, и шахматный ход, а «fou» — не только безумца, но и шахматного слона), подготовленный Дени Рош при участии автора. На английский язык роман перевел Майкл Скэммелл, также с участием автора, в 1962–1963 гг. До книжного издания романа под названием «The Defense» («Защита», в Великобритании — «The Defence») в 1964 г. в издательстве «G. P. Putnam's Sons», он был полностью опубликован в двух номерах журнала «New

Yorker». В 1967 г. состоялось русское переиздание романа под маркой фиктивного парижского издательства «Editions de la Seine», с предисловием одного из лучших эмигрантских критиков Г. В. Адамовича и с русским переводом английского предисловия автора. В своем предисловии Адамович отметил:

Набоков — единственный большой русский писатель нашего столетия, органически сроднившийся с Западом и новой западной культурой. Из своего поколения он единственный, кто на Западе не только широко известен, но и признан выдающимся, оригинальнейшим художником. Положение его в литературе русской, место, которое ему надо в ней отвести, определить труднее, хотя и невозможно было бы отрицать, что по блеску и силе дарования у него среди русских романистов нашего времени нет соперников.

Издание 1967 г., не вполне последовательно подготовленное по правилам пореформенной орфографии, было выпущено по правительственной программе США с целью распространения в Советском Союзе произведений запрещенных на его территории авторов. Печатается по этому изданию с исправлением опечаток и с приведением написания некоторых слов к современным нормам.

# Защита Лужина

Роман

## От автора\*

Русское заглавие этого романа — «Защита Лужина»: оно относится к шахматной защите, будто бы придуманной моим героем гроссмейстером Лужиным. Я начал писать этот роман весной 1929 года, в Ле-Булу (Le Boulou) — маленьком курорте в Восточных Пиренеях, где я ловил бабочек, — и окончил его в том же году в Берлине. Я помню с особой ясностью отлогую плиту скалы среди поросших остролистом и утесником холмов, где мне впервые явилась основная тема книги. К этому можно было бы добавить несколько любопытных под-

\* Настоящее предисловие было опубликовано в парижском издании романа 1967 г. (Edition de la Seine) со следующим примечанием: «“Защита Лужина” была издана в английском переводе в 1964 году в Нью-Йорке и Лондоне под более кратким заглавием “The Defence” (“Защита”). Нижеследующее предисловие написано В. Набоковым для американского и английского издания» (с. 17). Согласно изысканиям М. Джулиара, перевод предисловия на русский язык подготовил Арнольд Самсонович Блох при участии автора. (*Здесь и далее — прим. ред.*)

робностей, если бы я серьезно относился к самому себе.

«Защита Лужина», под псевдонимом «В. Сирин», печаталась в русском зарубежном журнале «Современные записки» в Париже, и тотчас вслед за этим вышла отдельной книгой в зарубежном русском издательстве «Слово» (Берлин, 1930). Брошюрованная — 234 стр., размером в 21 на 14 см — в матово-черной с золотым тисненым шрифтом обложке, книга эта теперь стала редкостью и, может быть, станет в дальнейшем еще более редкой.

Бедному Лужину пришлось ждать тридцать пять лет издания на английском языке. Что-то, правда, обещающе зашевелилось в конце тридцатых годов, когда один американский издатель выказал интерес; но оказалось, что он принадлежит к тому типу издателей, которые мечтают служить мужского пола музой издаваемому ими автору, и его предложение, чтобы я заменил шахматы музыкой, а из Лужина сделал сумасшедшего скрипача, сразу же положило конец нашему краткому сотрудничеству.

Перечитывая теперь этот роман, вновь разыгрывая ходы его фабулы, я испытываю чувство схожее с тем, что испытывал бы Андерсен, с нежностью вспоминая, как пожертвовал обе ладьи несчастливому, благородному Кизерицкому — который обречен вновь и вновь принимать эту жертву в бесчисленном множестве шах-

матных руководств, с вопросительным знаком в качестве памятника\*. Сочинять книгу было нелегко, но мне доставляло большое удовольствие пользоваться теми или другими образами и положениями, дабы ввести роковое предначертание в жизнь Лужина и придать описанию сада, поездки, череды обиходных событий подобие тонко-замысловатой игры, — а в конечных главах настоящей шахматной атаки, разрушающей до основания душевное здоровье моего бедного героя.

Тут, кстати, чтоб сберечь время и силы присяжных рецензентов — и вообще лиц, которые, читая, шевелят губами и от которых нельзя ждать, чтоб они занялись романом, в котором нет диалогов, когда столько может быть почерпнуто из предисловия к нему, — я хотел бы обратить их внимание на первое появление, уже в одиннадцатой главе, мотива матового («будто подернутого морозом») оконного стекла (связанного с самоубийством или, скорее, обратным матом, самому себе поставленным Лужиним); или на то, как трогательно мой пасмурный гроссмейстер вспоминает о своих поездках по профессиональной надобности: не в виде солнечно-красочных багажных ярлыков или диапозитивов волшебного фонаря,

\* Имеется в виду знаменитая партия, получившая в шахматной литературе название «бессмертной», сыгранная 21 июня 1851 г. в Лондоне Адольфом Андерсеном (белые) и Лионелем Кизе-рицким (черные).

а в виде кафельных плит в разных отельных ван-ных и уборных — как, например, тот пол в белых и голубых квадратах, где, с высоты своего трона, он нашел и проверил воображаемые продолжения начатой турнирной партии; или раздражительно асимметрический — именуемый в продаже «агато-вым» — узор, в котором три арлекиново-пестрых краски зигзагом — как ход коня — там и сям прерыва-ют нейтральный тон правильно в остальной ча-сти разграфленного линолеума, стелющегося меж-ду нашим роденовским «Мыслителем» и дверью; или крупные глянцевиито-черные и желтые прямо-угольники с линией «h»\*, мучительно отрезанной охряной вертикалью горячей водопроводной тру-бы; или тот роскошный ватерклозет, в прелест-ной мраморной мозаике которого он узнал смут-ный, но полностью сохраненный очерк точно того положения, над которым, подперев кулаком подбородок, он раздумывал однажды ночью много лет тому назад. Но шахматные образы, вкраплен-ные мной, различимы не только в отдельных сце-нах; связь их звеньев может быть усмотрена и в ос-новной структуре этого симпатичного романа. Так, к концу четвертой главы, я делаю неподви-женный ход в углу доски, за один абзац проходит шестнадцать лет, и Лужин, вдруг ставший зрелым и довольно потрепанным господином, перенесен-

\* Латинские буквы, от «a» до «h», используются для нумерации на шахматной доске.

ным в немецкий курорт, является нам сидящим за садовым столиком и указывающим тростью на запомнившееся ему отельное окно (не последний стеклянный квадрат в его жизни), обращаемся к кому-то (даме, судя по сумочке на железном столике), кого мы встретим только в шестой главе. Тема возвращения в прошлое, начавшаяся в четвертой главе, теперь незаметно переходит в образ покойного Лужинова отца, к прошлому которого мы обращаемся в пятой главе, где он, в свою очередь, вспоминает зарю шахматной карьеры сына, стилизуя ее в уме, дабы сделать из нее чувствительную повесть для юношества. Мы переносимся назад к кургаузу\* в главе шестой и застаем Лужина все еще играющим дамской сумочкой, обращаясь все так же к своей дымчатой собеседнице, которая тут же выходит из дымки, отнимает у него сумку, упоминает о смерти Лужина-старшего и становится отчетливой частью общего узора. Весь последовательный ряд ходов в этих трех центральных главах напоминает — или должен бы напоминать — известный тип шахматной задачи, где дело не просто в том, чтобы найти мат во столько-то ходов, а в так называемом «ретроградном анализе», в котором от решающего задачу требуется доказать — путем обращенного вспять изучения диаграммы, — что последний ход черных не мог

\* Устаревшее название курзала — помещения на курорте, предназначенного для собраний, концертов и т. п.

быть рокировкой или должен был быть взятием белой пешки «на проходе».

Незачем распространяться в этом предисловии самого общего порядка о более сложном аспекте моих шахматных фигур и линий развития игры. Однако надо сказать следующее. Из всех моих написанных по-русски книг «Защита Лужина» заключает и излучает больше всего «тепла», — что может показаться странным, если принять во внимание, до какой степени шахматная игра почитается отвлеченной. Так или иначе, именно Лужин полюбился даже тем, кто ничего не смыслит в шахматах или попросту терпеть не может всех других моих книг. Он неуклюж, неопрятен, непривлекателен, но — как сразу замечает моя милая барышня (сама по себе очаровательная) — есть что-то в нем, что возвышается и над серой шершавостью его внешнего облика, и над бесплодностью его загадочного гения.

В предисловиях, которые я писал последнее время для изданий моих русских романов на английском языке (предстоят еще и другие), я поставил себе за правило обращаться с несколькими словами поощрения по адресу венской делегации. Настоящее предисловие не должно составить исключение. Специалистам по психоанализу и их пациентам придутся, я надеюсь, по вкусу некоторые детали лечения, которому подвергается Лужин после своего нервного заболевания (как, например, целительный намек на то, что шахматный

*Защита Лужина*

игрок видит в своей королеве собственную мамашу, а в короле противника — своего папашу); малолетний же фрейдианец, принимающий замочную отмычку за ключ к роману, будет, конечно, все так же отождествлять персонажей книги с моими родителями, возлюбленными, со мной самим и серийными моими отражениями, — в его, основанном на комиксах, представлении о них и обо мне. На радость таким ищейкам я могу еще признаться, что дал Лужину мою французскую гувернантку, мои карманные шахматы, мой кроткий нрав и косточку от персика, который я сорвал в моем обнесенном стеной саду.

В. Набоков

Монтре,  
15 дек. 1963

# 1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, — вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». — «Как хорошо... — сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. — Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето — быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья, — все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но только он поднимал голову, отец

с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома, оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монтекристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть: «Бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только шурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И обойные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сиденье кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, — расчесанный до крови волдырь, белые следы

ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые прутики. Комар улетал, избежав хлопка, французенка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы — которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, — нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, — и медленно, с возрастающим ужасом, французенка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

«Нет, я лучше сам ему скажу, — неуверенно ответил Лужин-старший на ее предложение. — Скажу ему погода, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, — мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. — Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин-старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих «ять», и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвижаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась французенка. Но ничего такого не слу-